Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере

Автор:
Виктор Франкл

Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере

Виктор Франкл

Эта удивительная книга сделала ее автора одним из величайших духовных учителей человечества в XX веке. В ней философ и психолог Виктор Франкл, прошедший нацистские лагеря смерти, открыл миллионам людей всего мира путь постижения смысла жизни. Дополнительный подарок для читателя настоящего издания – пьеса «Синхронизация в Биркенвальде», где выдающийся ученый раскрывает свою философию художественными средствами.

Виктор Франкл

Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере

Редактор Д. Леонтьев

Руководитель проекта И. Серёгина

Технический редактор Н. Лисицына

Корректор О. Галкин

Верстальщик Е. Сенцова

Дизайнер обложки С. Прокофьева

© 1984 Viktor E. Frankl Published by arrangement with the Estate of Viktor E. Frankl.

© Издательство «Смысл», перевод на русский язык, 2004

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2009

© Электронное издание. ООО «Альпина Паблишер», 2012

Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Упрямство духа

Эта книга принадлежит к числу немногих величайших человеческих творений.

Карл Ясперс

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые,

Его призвали всеблагие

Как собеседника на пир.

Ф.И. Тютчев

Перед вами великая книга великого человека.

Ее автор – не просто выдающийся ученый, хотя это так: по числу почетных ученых степеней, присужденных ему разными университетами мира, ему нет равных среди психологов и психиатров. Он не просто мировая знаменитость, хотя и с этим спорить трудно: 31 его книга переведена на несколько десятков языков, он объехал весь мир, и встречи с ним искали многие выдающиеся люди и сильные мира сего – от таких выдающихся философов, как Карл Ясперс и Мартин Хайдеггер, и до политических и религиозных лидеров, включая Папу Павла VI и Хиллари Клинтон. Не прошло и десятилетия после смерти Виктора Франкла, но мало кто станет оспаривать, что он оказался одним из величайших духовных учителей человечества в XX веке. Он не только построил психологическую теорию смысла и основанную на ней философию человека, он раскрыл глаза миллионам людей на возможности открыть смысл в собственной жизни.

Актуальность идей Виктора Франкла определяется уникальной встречей масштабной личности с обстоятельствами места, времени и образа действия, которые придали этим идеям столь громкий резонанс. Он умудрился прожить немало, и даты его жизни – 1905–1997 гг. – вобрали в себя XX век почти без остатка. Почти всю свою жизнь он прожил в Вене – в самом центре Европы, почти что в эпицентре нескольких революций и двух мировых войн и поблизости от линии фронта сорокалетней холодной войны. Он пережил их все, пережил в обоих смыслах этого слова, – не только оставшись в живых, но и претворив свои переживания в книги и публичные лекции. Виктор Франкл испытал на себе весь трагизм столетия.

Почти посередине через его жизнь проходит разлом, обозначенный датами 1942–1945. Это годы пребывания Франкла в нацистских концлагерях, нечеловеческого существования с мизерной вероятностью остаться в живых. Почти любой, кому посчастливилось выжить, счел бы наивысшим счастьем вычеркнуть эти годы из жизни и забыть их как страшный сон. Но Франкл еще накануне войны в основном завершил разработку своей теории стремления к смыслу как главной движущей силы поведения и развития личности. И в концлагере эта теория получила беспрецедентную проверку жизнью и подтверждение – наибольшие шансы выжить, по наблюдениям Франкла, имели не те, кто отличался наиболее крепким здоровьем, а те, кто отличался наиболее крепким духом, кто имел смысл, ради которого жить. Мало кого можно вспомнить в истории человечества, кто заплатил столь высокую цену за свои убеждения и чьи воззрения подверглись такой жестокой проверке. Виктор Франкл стоит в одном ряду с Сократом и Джордано Бруно, принявшим смерть за истину. Он тоже имел возможность избежать такой участи. Незадолго до ареста ему удалось, как и некоторым другим высококлассным профессионалам,

получить визу на въезд в США, однако после долгих колебаний он решил остаться, чтобы поддержать своих престарелых родителей, у которых шанса уехать с ним не было.

У самого Франкла было ради чего жить: в концлагерь он взял с собой рукопись книги с первым вариантом учения о смысле, и его заботой было сначала попытаться сохранить ее, а затем, когда это не удалось, – восстановить утраченный текст. Кроме того, до самого освобождения он надеялся увидеть в живых свою жену, с которой он был разлучен в лагере, но этой надежде не суждено было сбыться – жена погибла, как и практически все его близкие. В том, что он сам выжил, сошлись и случайность, и закономерность. Случайность – что он не попал ни в одну из команд, направлявшихся на смерть, направлявшихся не по какой-то конкретной причине, а просто потому, что машину смерти нужно было кем-то питать. Закономерность – что он прошел через все это, сохранив себя, свою личность, свое «упрямство духа», как он называет способность человека не поддаваться, не ломаться под ударами, обрушивающимися на тело и душу.

Выйдя в сорок пятом на свободу и узнав, что вся его семья погибла в горниле мировой войны, он не сломался и не ожесточился. В течение пяти лет он выпустил дюжину книг, в которых изложил свое уникальное философское учение, психологическую теорию личности и психотерапевтическую методологию, основанные на идее стремления человека к смыслу. Стремление к смыслу помогает человеку выжить, и оно же приводит к решению уйти из жизни, оно помогает вынести нечеловеческие условия концлагеря и выдержать тяжелое испытание славой, богатством и почетом. Виктор Франкл прошел и те, и другие испытания и остался Человеком с большой буквы, проверив на себе действенность собственной теории и доказав, что в человека стоит верить. «Каждому времени требуется своя психотерапия», – писал он. Ему удалось нащупать тот нерв времени, тот запрос людей, который не находил ответа, – проблему смысла, – и на основе своего жизненного опыта найти простые, но вместе с тем жесткие и убедительные слова о главном. У этого человека – редкий случай! – и хочется, и есть чему поучиться в наше время всеобщей относительности, неуважения к знаниям и равнодушия к авторитетам.

«Упрямство духа» – это его собственная формула. Дух упрям, вопреки страданиям, которые может испытывать тело, вопреки разладу, который может испытывать душа. Франкл ощутимо религиозен, но он избегает говорить об этом прямо, потому что он убежден: психолог и психотерапевт должны суметь понять

любого человека и помочь ему вне зависимости от его веры или отсутствия таковой. Духовность не исчерпывается религиозностью. «В конце концов, – говорил он в своей московской лекции, – Богу, если он есть, важнее, хороший ли Вы человек, чем то, верите Вы в него или нет».

Первый вариант книги «Психолог в концлагере», составившей основу данного издания, был надиктован им за 9 дней, вскоре после освобождения, и вышел в 1946 году анонимно, без указания авторства. Первый трехтысячный тираж был распродан, но второе издание продавалось очень медленно. Гораздо больший успех имела эта книга в Соединенных Штатах; первое ее английское издание появилось в 1959 году с предисловием авторитетнейшего Гордона Олпорта, роль которого в международном признании Франкла чрезвычайно велика. Эта книга оказалась нечувствительна к капризам интеллектуальной моды. Пять раз она объявлялась «книгой года» в США. За 30 с лишним лет она выдержала несколько десятков изданий общим тиражом свыше 9 миллионов экземпляров. Когда же в начале 1990-х годов в США по заказу библиотеки Конгресса проводился общенациональный опрос с целью выяснить, какие книги сильнее всего повлияли на жизнь людей, американское издание книги Франкла, которую Вы держите в руках, вошло в первую десятку!

Новое, наиболее полное немецкое издание главной книги Франкла под названием «И все же сказать жизни "Да"» вышло в 1977 году и с тех пор постоянно переиздается. В нее была включена также философская пьеса Франкла «Синхронизация в Биркенвальде» – до этого она была опубликована только раз, в 1948 году, в литературном журнале под псевдонимом «Габриэль Лион». В этой пьесе Франкл находит иную, художественную форму для выражения своих главных, философских идей – причем отнюдь не только в словах, которые произносит заключенный Франц, alter ego самого Франкла, но и в структуре сценического действия. С этого издания и сделан данный перевод. На русском языке ранее выходили сокращенные варианты повествования Франкла о концлагере, сделанные по другим изданиям. Полный его вариант публикуется на русском языке впервые.

В конце жизни Франкл дважды побывал в Москве, выступал в Московском университете. Он встретил чрезвычайно горячий прием. Его мысли легли на благодатную почву, и сегодня Франкл воспринимается в России скорее как свой, а не как чужестранец. Столь же теплый прием получили выходившие у нас ранее книги Франкла. Есть все основания надеяться, что и этому изданию суждена долгая жизнь.

Дмитрий Леонтьев,

доктор психологических наук

Психолог в концлагере

Памяти покойной матери

Неизвестный заключенный

«Психолог в концлагере» – таков подзаголовок этой книги. Это рассказ больше о переживаниях, чем о реальных событиях. Цель книги – раскрыть, показать пережитое миллионами людей. Это концентрационный лагерь, увиденный «изнутри», с позиции человека, лично испытавшего все, о чем здесь будет рассказано. Причем речь пойдет не о тех глобальных ужасах концлагерей, о которых уже и без того много говорилось (ужасах столь неимоверных, что в них даже не все и не везде поверили), а о тех бесконечных «малых» мучениях, которые заключенный испытывал каждый день. О том, как эта мучительная лагерная повседневность отражалась на душевном состоянии обычного, среднего заключенного.

Следует заранее сказать, что то, о чем будет здесь говориться, происходило преимущественно не в больших, широко известных лагерях, а в их филиалах, отделениях. Однако известно, что именно эти небольшие лагеря были лагерями уничтожения. Здесь будет рассказано не о страданиях и гибели героев и мучеников, а скорее о незаметных, безвестных жертвах концлагерей, о массах тихих, незаметных смертей.

Мы не станем касаться и того, что перенес и о чем рассказывал какой-нибудь заключенный, годами подвизавшийся в роли так называемого «капо», то есть чего-то вроде лагерного полицейского, надсмотрщика, или иной привилегированный заключенный. Нет, речь идет об обычном, безвестном

обитателе лагеря, на которого тот же капо смотрел с презрением, сверху вниз. В то время как этот безвестный жестоко голодал и погибал от истощения, у капо дела с питанием обстояли неплохо, подчас даже лучше, чем в течение всей его прежней жизни. Психологически, характерологически подобного капо можно скорее приравнять не к заключенному, а к СС, к лагерной охране. Это тип человека, сумевшего ассимилироваться, психологически слиться с эсэсовцами. Очень часто капо бывали даже жестче лагерной охраны, причиняли обычным заключенным больше страданий, чем сами эсэсовцы, чаще били их. Впрочем, и назначались на роль капо только такие заключенные, которые были к этому пригодны; если же случайно попадался более порядочный человек, его тут же выбраковывали.

Активный и пассивный отбор

Человек посторонний и непосвященный, кто сам не был в лагере, как правило, вообще не в состоянии представить себе истинную картину лагерной жизни. Она может видеться ему в каких-то сентиментальных тонах, во флере тихой скорби. Он и не предполагает, что это была жестокая борьба за существование – даже между самими заключенными. Беспощадная борьба за ежедневный кусок хлеба, за самосохранение, за себя самого или за самых близких людей.

К примеру: формируется состав, который будто бы должен перевезти определенное число заключенных в какой-то другой лагерь. Но все опасаются, и не без оснований, что это – очередная «селекция», то есть уничтожение слишком ослабевших и неработоспособных, и, значит, этот состав пойдет прямиком в газовые камеры и крематории, устроенные в центральных лагерях. И тут начинается борьба всех против всех. Каждый отчаянно бьется за то, чтобы не попасть в этот эшелон, уберечь от него своих близких, любыми способами старается ухитриться хоть в последний момент исчезнуть из списков отправляемых. И каждому абсолютно ясно, что если он на этот раз спасется, то на его месте в эшелоне должен будет оказаться кто-то другой. Ведь требуется определенное количество обреченных, из которых каждый представляет собой только номер, всего лишь номер! В списке к отправке стоят только номера.

Ведь сразу по прибытии, к примеру, в Аушвиц[1 - В литературе на русском языке чаще встречается польское название этого лагеря – Освенцим. – Прим. пер.] у

заключенного отбирают буквально все, и он, оставшись не только без малейшего имущества, но даже и без единого документа, может теперь назваться любым именем, присвоить себе любую специальность – возможность, которую при некоторых условиях удавалось использовать. Единственное, что было неизменно, – это номер, обычно вытатуированный на коже, и только номер интересовал лагерное начальство. Никакому конвоиру или надсмотрщику, пожелавшему взять на заметку «ленивого» заключенного, не пришло бы в голову справляться о его имени – он смотрел только на номер, который каждый обязан был нашить еще и на определенное место брюк, куртки, пальто, и записывал этот номер. (Кстати, попасть таким образом на заметку было небезопасно.)

Но вернемся к предстоящему эшелону. В такой ситуации у заключенного нет ни времени, ни желания заниматься абстрактными размышлениями о нормах морали. Он думает только о самых близких – о тех, кто ждет его дома и ради кого он должен стараться выжить, или, может быть, лишь о тех немногих товарищах по несчастью, с которыми он как-то связан. Чтобы сохранить себя и их, он, не задумываясь, постарается втолкнуть в эшелон какой-то другой «номер».

Из сказанного выше уже ясно, что капо представляли собой образчик своего рода негативного отбора: на такие должности годились только самые жестокие люди, хотя, конечно, нельзя утверждать, что здесь, как и всюду, не было счастливых исключений. Наряду с этим «активным отбором», осуществляемым эсэсовцами, был еще и «пассивный». Среди заключенных, которые многие годы провели за колючей проволокой, которых пересылали из лагеря в лагерь, кто сменил чуть ли не дюжину лагерей, как правило, наибольшие шансы остаться в живых имели те, кто в борьбе за существование окончательно отбросил всякое понятие о совести, кто не останавливался ни перед насилием, ни даже перед кражей последнего у своего же товарища.

А кому-то удалось уцелеть просто благодаря тысяче или тысячам счастливых случайностей или просто по милости Божьей – можно называть это по-разному. Но мы, вернувшиеся, знаем и можем с полной уверенностью сказать: лучшие не вернулись!

Отчет заключенного № 119104 (психологический опыт)

Поскольку «номер 119104» предпринимает здесь попытку описать, что он пережил и передумал в лагере именно «как психолог», прежде всего следует отметить, что находился он там, конечно, не в качестве психолога и даже – за исключением последних недель – не в качестве врача. Речь пойдет не столько о его собственных переживаниях, не о том, как жил он, сколько об образе, вернее, о способе жизни обычного заключенного. И я не без гордости заявляю, что был именно не более чем обычным заключенным, номером 119104.

Я работал преимущественно на земляных работах и на строительстве железнодорожных путей. В то время как некоторым моим коллегам (правда, немногим) выпала невероятная удача работать в сколько-нибудь отапливаемых импровизированных лазаретах, увязывая там пачки ненужных бумажных отходов, мне как-то случилось – в одиночку – прорыть под улицей тоннель для водопроводных труб. И я был очень этому рад, потому что в качестве признания моих трудовых успехов получил к Рождеству 1944 года два так называемых премиальных талона от строительной фирмы, где мы трудились буквально на положении рабов (фирма ежедневно выплачивала за нас лагерному начальству определенную сумму – в зависимости от числа работавших). Этот талон обошелся фирме в 50 пфеннигов, а ко мне вернулся через несколько недель в виде 6 сигарет. Когда же я стал обладателем 12 сигарет, то почувствовал себя богачом. Ведь 12 сигарет – это 12 порций супа, это уже почти спасение от голодной смерти, отсрочка ее по крайней мере на две недели! Позволить себе роскошь курить сигареты мог только капо, имевший еженедельно два гарантированных премиальных талона, или заключенный, работавший при какой-нибудь мастерской или складе – там иногда особое усердие вознаграждали сигаретой. Все же остальные сигаретами невероятно дорожили, берегли их и буквально надрывались из последних сил, чтобы получить премиальный талон, ибо это сулило пищу, а значит, продлевало жизнь. Когда мы видели, что наш товарищ вдруг закурил до того бережно хранимую им сигарету, мы знали – он уже полностью отчаялся, он не верит, что выживет, да и не имеет на это шансов. И обычно так и случалось. Люди, почувствовавшие близость своего смертного часа, решали напоследок получить каплю хоть какой-то радости…

Зачем я рассказываю обо всем этом? Каков вообще смысл этой книги? Ведь уже опубликовано достаточно фактов, рисующих картину концлагеря. Но здесь факты будут использованы лишь в той мере, в какой они отразились на душевной жизни заключенного; психологический аспект книги посвящен

переживаниям как таковым, внимание автора направлено на них. Книга имеет двоякий смысл в зависимости от того, кем будет ее читатель. Тот, кто сам был в лагере и испытал то, о чем идет речь, найдет в ней попытку научного объяснения и истолкования тех переживаний и реакций. Другим же, большинству, требуется не объяснение, а понимание; книга должна помочь понять то, что пережили заключенные, что с ними происходило. Хотя процент выживших в лагерях ничтожен, важно, чтобы их психология, их своеобразные, часто совсем изменившиеся жизненные установки были понятны окружающим. Ведь само по себе такое понимание не возникает. От бывших заключенных часто приходилось слышать: «Мы неохотно рассказываем о наших переживаниях. Тому, кто сам был в лагере, не надо ничего рассказывать. А тот, кто не был, все равно не сможет понять, чем все это было для нас и чем еще осталось».

Конечно, подобный психологический опыт наталкивается на определенные методические трудности. Психологический анализ требует от исследователя некоторой дистанции. Но имел ли необходимую дистанцию психолог-заключенный, скажем, по отношению к переживанию, которое он должен был наблюдать, имеет ли он эту дистанцию вообще? Такую дистанцию мог иметь внешний наблюдатель, но она была бы слишком велика, чтобы делать достоверные выводы. Для находящегося «внутри» дистанция, наоборот, слишком мала, чтобы судить объективно, но все-таки у него то преимущество, что он – и только он! – знает всю остроту переживаний, о которых идет речь. Вполне возможно, даже вероятно и уж во всяком случае не исключено, что в его представлении масштабы могут быть несколько искажены. Что ж, будем стараться везде, где это возможно, отрешаться от всего личного, но там, где это необходимо, наберемся мужества представить личные переживания. Ведь главную опасность для подобного психологического исследования представляет все-таки не его личностная окрашенность, а тенденциозность этой окраски.

Впрочем, я спокойно предоставлю кому-нибудь другому возможность еще раз профильтровать предложенный текст вплоть до полной его обезличенности и выкристаллизовать из этого экстракта переживаний объективные теоретические выводы. Они будут дополнением к той психологии и, соответственно, патопсихологии арестанта, которая складывалась в предшествующие десятилетия. Огромный материал для нее создала уже Первая мировая война, познакомив нас с «болезнью колючей проволоки» – острой психологической реакцией, которая наблюдалась у заключенных в лагерях для военнопленных. Вторая мировая война расширила наши представления о «психопатологии масс» (если можно так сказать, обыгрывая название книги Лебона[2 - Имеется в виду книга французского социолога конца XIX – начала XX

века Гюстава Лебона «Психология масс» или «Психология толп» (1895).]), ибо она не только втянула огромнейшие массы людей в «войну нервов», но и предоставила психологам тот страшный человеческий материал, который можно кратко обозначить как «переживания заключенных концлагерей».

Надо сказать, что первоначально я хотел выпустить эту книгу не под собственным именем, а только под своим лагерным номером. Причиной тому была моя нерасположенность к обнажению своих переживаний. Так и было сделано; но меня стали убеждать в том, что анонимность обесценивает публикацию, а открытое авторство, наоборот, повышает ее познавательную ценность. И я, переборов страх самораскрытия, набрался мужества ради дела подписаться собственным именем.

Фаза первая: прибытие в лагерь

Если попытаться хотя бы в первом приближении упорядочить огромный материал собственных и чужих наблюдений, сделанных в концлагерях, привести его в какую-то систему, то в психологических реакциях заключенных можно выделить три фазы: прибытие в лагерь, пребывание в нем и освобождение.

Станция Аушвиц

Первую фазу можно охарактеризовать как «шок прибытия», хотя, конечно, психологически шоковое воздействие концлагеря может предшествовать фактическому попаданию в него. Как это было у нас, в том эшелоне, с которым я прибыл в Аушвиц? Представьте: мы движемся уже много дней и ночей. В поезде – до полутора тысяч человек; в каждом вагоне примерно восемьдесят мужчин и женщин лежат и сидят на каких-то узлах – последних остатках своего имущества. Рюкзаки, сумки, свертки загородили половину вагонного окна, так что бледный свет раннего утра проникает только сверху. Куда мы едем? Все полагают, что на какое-то военное предприятие, где нас заставят работать.

Поезд останавливается на путях. Непонятно, где мы – еще в Силезии или уже в Польше? Пронзительный свисток паровоза звучит для нас жутко, точно крик о помощи. Кажется, будто сама машина почувствовала, что везет людей туда, где их ждет великое несчастье. А поезд, видимо, подходит к большой станции. И вдруг раздается чей-то крик: «Смотрите, надпись – Аушвиц!» В этот момент, наверное, каждый ощущает, как у него буквально останавливается сердце. Ведь Аушвиц связан с неопределенными и потому еще более страшными представлениями о газовых камерах, крематориях и массовых убийствах. Поезд катит дальше – медленно, как бы в нерешительности, как бы желая дать нам возможность освоиться с фактом: Аушвиц… Теперь уже можно увидеть больше: в постепенно рассеивающемся утреннем тумане слева и справа от железнодорожного полотна проступают очертания огромнейшего лагеря. Бесконечные проволочные заграждения, сторожевые вышки, прожекторы. И длинные колонны оборванных, закутанных в лохмотья человеческих фигур, серых в сером утреннем свете, медленно и устало бредущих по прямым, как стрелы, дорогам – кто знает, куда? То с одной, то с другой стороны слышны повелительные свистки – кто знает, что они значат?

Многим из нас стали мерещиться ужасные картины. Мне, например, показалось, что я вижу две виселицы с болтающимися на них повешенными… Меня охватил страх. И, наверное, так было надо: всем нам предстояло секунда за секундой, шаг за шагом входить в великий ужас, свыкаться с ним. Наконец поезд подошел к станции. Тишина. И вот – там, снаружи, – команда, окрик, грубый, хриплый, надсадный – тот, который мы будем слышать во всех лагерях и который звучит как последний крик убиваемого и даже более того – как постоянный крик человека, которого все время убивают.

Двери вагона открываются резким рывком, и в него врывается толпа, скорее – свора заключенных в отвратительной полосатой лагерной одежде, наголо остриженных, однако выглядящих на удивление сытыми. Они заговаривают с нами на всех мыслимых европейских языках, но все – с той жизнерадостностью, которая здесь, в этот момент, в этой ситуации выглядит как-то гротескно. Но я хватаюсь за эту их жизнерадостность, как утопающий за соломинку. Неистребимый оптимизм, всегда поддерживающий меня в самые тяжелые минуты, нашептывает мне: они ведь хорошо выглядят, эти люди, с ними, видимо, не так уж плохо обращаются, вот они даже смеются. Почему бы и мне не оказаться в таком благоприятном положении? Да какое там благоприятном – просто счастливом!

Психиатрам известна картина так называемого бреда помилования, когда приговоренный к смерти буквально перед казнью начинает, в полном безумии, верить, что в самый последний момент его помилуют. Вот и мы озарились надеждой и поверили – это не будет, не может быть так ужасно. Ну посмотрите же на этих краснорожих типов, на эти лоснящиеся щеки! Мы еще не знали тогда, что это – лагерная элита, люди, специально отобранные для того, чтобы встречать составы, годами ежедневно прибывавшие в Аушвиц. И, ободряя новоприбывших своим видом, забирать их багаж со всеми ценностями, которые, возможно, припрятаны в нем, – какой-нибудь редкой вещицей, ювелирным изделием. К тому времени, то есть к середине Второй мировой войны, Аушвиц стал, безусловно, своеобразным центром Европы. Здесь скопилось огромное количество ценностей – золота, серебра, платины, бриллиантов, и не только в магазинах, но и в руках эсэсовцев, а кое-что даже у членов той особой группы, которая нас встречала.

Помню, перед отправкой в другой, меньший лагерь мы теснились в каком-то бараке, предназначенном, я полагаю, максимум для двухсот человек, а нас было около полутора тысяч; многим приходилось стоять, потому что сесть, не говоря уже о том, чтобы лечь, было негде. Мы были вконец измучены, замерзали, голодали – за четыре дня мы получили по одному кусочку хлеба, что-то граммов 150. И я слышал, как староста блока этого барака торговался с одним из встречавших нас заключенных по поводу платиновой булавки для галстука, украшенной бриллиантом. Думаю, что в конечном счете булавка была обращена в выпивку. Я не знаю, во сколько тысяч марок мог обойтись там веселый вечерок с достаточным количеством шнапса, но уверен: этим «вечным» концлагерникам алкоголь был необходим! И кто станет обвинять человека, если, годами живя в такой внешней обстановке, с таким внутренним состоянием, он захочет хоть ненадолго себя одурманить!

Еще больше нуждались в таком одурманивании те заключенные, которых принуждали поочередно становиться помощниками палачей, обслуживая газовые камеры и крематории. Ведь они знали, что настанет их очередь, и они пойдут путем своих жертв. Им, кстати, даже выдавались практически неограниченные дозы спиртного.

Первая селекция

В большей или меньшей степени, но все в нашем эшелоне находились во власти «бреда помилования» и надеялись, что все еще может кончиться благополучно. Мы пока были не в состоянии понять смысл происходящего; этот смысл стал нам ясен только к вечеру. Нам было приказано выйти из вагонов, оставив там весь свой багаж, построиться в отдельные колонны – мужчин и женщин – и таким образом, вереницей, продефилировать перед старшим офицером СС. Я набрался храбрости все-таки взять с собой свой мешок с хлебом, кое-как спрятав его под пальто. И вот наша колонна, один за другим, приближается к офицеру. Я соображаю: если сейчас он заметит мой мешок, тянущий меня чуть-чуть набок, то я как минимум получу оплеуху такой силы, что она бросит меня в грязь – нечто подобное со мной уже случалось. И чем ближе я подхожу к офицеру, тем больше, причем почти инстинктивно, выпрямляюсь, тем искуснее маскирую свой груз.

И вот он передо мной – высокий, стройный, молодцеватый, в безукоризненной, просто ослепительной форме – элегантный, холеный мужчина, такой неизмеримо далекий от тех жалких существ, что мы сейчас собой представляем. Он стоит в непринужденной позе, подпирая левой рукой правый локоть, подняв правую кисть и делая указательным пальцем легкое движение – налево, направо, но чаще налево… Никто из нас не имел ни малейшего представления о том, что может означать это небрежное движение пальца. Но кто-то шепнул мне, что направо – значит на работы, а налево – в лагерь для неработоспособных и больных. Значит, нельзя выглядеть слабым! Я усвоил это – на сей раз и на много последующих. Мой мешок тянет меня вбок, а я вытягиваюсь, выпрямляюсь, как только могу. Эсэсовец испытующе смотрит на меня, похоже, он колеблется или сомневается; затем кладет обе руки мне на плечи, я стараюсь не сутулиться, стою навытяжку, и он медленно разворачивает меня направо…

Вечером мы узнали истинное значение этой игры пальцем. Это была первая селекция, первое решение о том, быть или не быть. Для большинства из нашего эшелона, едва ли не для 90 %, это был смертный приговор. И он был исполнен в ближайшие же часы. Те, кого направляли налево, маршировали сразу к зданию крематория, где, как мне рассказывали потом те, кто там работал, висели надписи на многих европейских языках: «Баня», а при входе каждому совали в руку кусочек мыла… О том, что с ними происходило дальше, я промолчу – пусть говорят документы, они уже известны. А мы, меньшинство из прибывшего эшелона, узнали об этом вечером того же дня.

Я спросил у заключенных, уже давно находившихся в лагере, куда мог подеваться мой коллега и друг П., с которым мы вместе приехали.

– Его послали в другую сторону?

– Да, – ответил я.

– Тогда ты увидишь его там.

– Где?

Чья-то рука указала мне на высокую дымовую трубу в нескольких сотнях метров от нас. Из трубы вырывались острые языки пламени, освещавшие багровыми всполохами серое польское небо и превращавшиеся в клубы черного дыма.

– Что там?

– Там твой друг парит в небесах, – прозвучал суровый ответ.

Но все это я рассказываю, забегая вперед. С психологической точки зрения для каждого из нас между выходом на вокзал с его утренним серым полумраком и первой ночью в лагере пролегла длинная-длинная дорога. Эскортируемые эсэсовскими конвоирами с ружьями наперевес, мы бежали бегом между двумя рядами колючей проволоки, по которой – мы знали – пущен ток высокого напряжения. Бежали через весь лагерь к дезинфекционной станции-бане. Для нас, миновавших первую селекцию, это действительно была баня. И снова – пища для нашего «бреда помилования». Эсэсовцы, встретившие нас здесь, кажутся относительно любезными. Но очень скоро мы заметили: они любезны, лишь пока снимают с нас наручные часы и достаточно миролюбиво предлагают сдать им все, что у нас еще есть. «Ну что ж, пропало так пропало, – думал каждый. – И если этот относительно симпатичный человек берет часы себе – почему бы и нет? Может быть, мне от этого будет какая-нибудь польза?»

Дезинфекция

И вот мы ждем в бараке, служащем чем-то вроде предбанника. Появляется эсэсовец с одеялами, куда должны быть сложены все консервы, часы, украшения.

Среди нас еще находятся (на потеху помощникам из числа «старых» лагерников) наивные люди, спрашивающие, можно ли оставить себе обручальное кольцо, медальон, какую-то памятную вещичку, талисман: никто еще не может поверить, что отнимается буквально все. Я пробую довериться одному из старых лагерников, наклоняюсь к нему и, показывая бумажный сверток во внутреннем кармане пальто, говорю: «Смотри, у меня здесь рукопись научной книги. Я знаю, что ты скажешь, знаю, что остаться живым, только живым – самое большое, чего можно сейчас просить у судьбы. Но я ничего не могу с собой поделать, такой уж я сумасшедший, я хочу большего. Я хочу сохранить эту рукопись, спрятать ее куда-нибудь, это труд моей жизни». Он, кажется, начинает меня понимать, он усмехается, сначала скорее сочувственно, потом все более иронично, презрительно, издевательски и наконец с гримасой полного пренебрежения злобно ревет мне в ответ единственное слово, самое популярное слово из лексикона заключенных: «Дерьмо!»

Вот теперь я окончательно усвоил, как обстоят дела. И со мной происходит то, что можно назвать пиком первой фазы психологических реакций: я подвожу черту под всей своей прежней жизнью.

Вдруг в толпе моих товарищей – смертельно бледных, испуганных, о чем-то беспомощно перешептывающихся – происходит движение: это снова прозвучала хриплая команда, и всех бегом загоняют в следующее, уже, кажется, непосредственно банное помещение. В центре его стоит эсэсовский офицер, нетерпеливо ожидающий, пока мы все будем в сборе. Его речь кратка, отрывиста и сурова: «Я даю вам две минуты. Вот, я смотрю на часы. За эти две минуты вы должны полностью раздеться. Все оставить на месте. Ничего с собой не брать, кроме ботинок, пояса или подтяжек, очков и, разве что, грыжевого бандажа. Я засекаю две минуты – пошли!»

С невообразимой поспешностью люди начинают срывать с себя одежду. Чем ближе конец срока, тем нервнее развязываются узлы, выдергиваются шнурки, расстегиваются пряжки, пуговицы, сбрасывается нижнее белье. Кого-то торопят – слышны хлопающие удары кнута по голому телу… Нас гонят куда-то еще, нас бреют – не только головы. Ни одного волоса не остается на теле. Мы едва узнаем друг друга. Мы строимся. Нас гонят в душевую. Но здесь есть нечто, что нас

радует, что кажется счастьем: из кранов идет действительно вода. Вода!

Что остается человеку: голое существование

За несколько минут ожидания душа мы остро ощутили свою наготу. Да, теперь у тебя действительно нет ничего, кроме собственного тела. Нет даже волос – нет ничего, кроме нашего в самом прямом смысле голого существования. Что нам осталось от прежней жизни? Мне, например, только очки и пояс. Его, правда, мне вскоре пришлось обменять на кусок хлеба.

Обладателям грыжевых бандажей пришлось вечером пережить еще один волнующий момент. Староста блока нашего барака, «приветствуя» наше появление, заверил нас «честным словом», что всякого, кто зашил в свой бандаж доллары или благородные металлы, он лично повесит на вот этой – рука указует вверх – балке. И с гордостью пояснил, что на такие самоличные действия он имеет право.

С обувью, которую нам поначалу оставили, тоже не все было гладко. Мало-мальски приличную все-таки забрали, взамен же человек мог получить что-то совсем не по размеру. Тому же, кто последовал доброжелательному, казалось бы, совету встреченных у входа заключенных со стажем и отрезал голенища своих прекрасных высоких канадских мотоциклетных бутсов со шнуровкой, да еще для маскировки замазал место обреза мылом, пришлось очень и очень пожалеть об этом. Ибо предстояло пройти мимо офицера для контроля обуви, и заподозренного в «акте саботажа» загнали в какую-то соседнюю каморку, откуда еще долго слышались удары кнута и крики истязуемого…

Первые реакции

Так рушились иллюзии, одна за другой. И тогда явилось нечто неожиданное: черный юмор. Мы ведь поняли, что нам уже нечего терять, кроме этого до смешного голого тела. Еще под душем мы стали обмениваться шутливыми (или претендующими на это) замечаниями, чтобы подбодрить друг друга и прежде

всего себя. Кое-какое основание для этого было – ведь все-таки из кранов идет действительно вода!

Кроме черного юмора появилось еще другое чувство, что-то вроде любопытства. Лично мне такая реакция на чрезвычайные обстоятельства была уже знакома совсем из другой области. В горах, при обвале, отчаянно цепляясь и карабкаясь, я в какие-то секунды, даже доли секунды испытывал что-то вроде отстраненного любопытства: останусь ли жив? Получу травму черепа? Перелом каких-то костей? И в Аушвице у людей на короткое время возникало состояние некой объективизации, отстраненности, мгновения почти холодного любопытства, почти стороннего наблюдения, когда душа как бы отключается и этим пытается защититься, спастись. Нам становилось любопытно, что же будет происходить дальше. Как, например, мы, совершенно голые и мокрые, выйдем отсюда наружу, на холод поздней осени?

В тот раз, кстати, никто почему-то не схватил даже насморка. Впоследствии у нас бывали подобные тривиальные поводы для удивления. Те из нас, кто изучал медицину, имели возможность убедиться: учебники лгут! В них написано, что человек не может обходиться без сна более стольких-то часов – вранье! Это только выдумки, что человек не может того или иного делать, не может спать, «если не…», не может жить «без…»! В первую же ночь в Аушвице я спал на трехэтажных нарах, где на каждом этаже, размером примерно 2?2,5 м, лежали прямо на голых досках по 9 человек, на которых полагалось 2 жалких одеяла. Мы, конечно, могли уместиться, только лежа на боку, тесно вжавшись друг в друга; впрочем, в нетопленом бараке это было нелишним. Брать наверх обувь было запрещено, и только в высшей степени нелегально кое-кто решался использовать ее в качестве подушки. Прочим же не оставалось ничего другого, как положить голову на согнутую в локте руку. Но сон вопреки всему приходит, приглушает сознание, дает возможность отключиться от всего ужаса, всей боли этого положения.

Из других подобных неожиданностей можно упомянуть следующие: разумеется, пришлось забыть о зубных щетках, разумеется, мы испытывали жесточайший авитаминоз, но состояние десен было лучше, чем когда-либо раньше, в периоды самого здорового питания. Да мало ли что еще оказалось возможным! Полгода носить одну рубашку, пока она буквально не истлеет на теле, много дней подряд не умываться, потому что замерз водопровод, не мыть руки, вечно грязные от земляных работ, и обойтись без ран и воспалений – правда, до тех лишь пор, пока не начались отморожения. Или: человек, которого прежде будил

малейший шорох в соседней комнате, сейчас засыпает, едва свалившись на нары, спит бок о бок с товарищем, храпящим ему в самое ухо. Приходишь к выводу, что прав был Достоевский, определив человека как существо, которое ко всему привыкает. Если бы нас спросили, насколько это верно, мы бы ответили: «Да, это так. Человек ко всему привыкает. Но не спрашивайте нас как».

«Броситься на проволоку»?

Но все это еще только начало психологических наблюдений. Мы еще не так далеко ушли в понимании происходящего вокруг нас и в нас самих. Мы еще находимся в первой фазе наших душевных реакций.

Безвыходность ситуации, ежедневная, ежечасная, ежеминутная угроза гибели – все это приводило почти каждого из нас, пусть даже мельком, ненадолго, к мысли о самоубийстве. Но я, исходя из моих мировоззренческих позиций, о которых еще будет сказано, в первый же вечер, прежде чем заснуть, дал себе слово «не бросаться на проволоку». Этим специфическим лагерным выражением обозначался здешний способ самоубийства – прикоснувшись к колючей проволоке, получить смертельный удар тока высокого напряжения. Но решение «не бросаться на проволоку», в сущности, в Аушвице мало что меняло. Самоубийство здесь теряло смысл, потому что вообще было невозможно рассчитывать на сколько-нибудь долгую жизнь. Рассуждая чисто логически или узнавая некоторые цифры, заключенный вынужден был признать, что едва ли ему удастся попасть в то незначительное число счастливчиков, которые ускользнут от всех селекций и других способов уничтожения. В Аушвице заключенный, находящийся еще в состоянии первичного шока, совсем не боится смерти. Даже газовая камера уже через несколько дней не вызывает у него страха. В его глазах это просто нечто, что избавляет от заботы о самоубийстве.

Я лично не принадлежал к тем, кто пережил первичный шок, шок поступления наиболее болезненно. Это не раз подтверждали и мои непредубежденные товарищи. И все-таки при следующем эпизоде я мог только усмехнуться.

Несмотря на запрет покидать бараки без особого распоряжения, один мой знакомый коллега, прибывший сюда неделей раньше, прошмыгнул к нам на

следующее утро после прибытия. Он хотел нас успокоить, просветить, утешить. Похудевший почти до неузнаваемости, он торопливо, с более или менее убедительно наигранной живостью, бросал нам фразы: «Не бойтесь! Не бойтесь селекции! М. (главный врач лагеря, эсэсовец) считается с врачами!» (Это было неправдой. Не буду вдаваться в подробности, но теперь я это знаю: врач одного блока, сам заключенный, человек лет шестидесяти, рассказал мне, как он умолял этого М. вызволить его сына, которому предстояла газовая камера. И тот холодно, жестко отказал.) «Об одном прошу вас, одно советую, – горячился этот коллега, – брейтесь! Если удастся – брейтесь каждый день! Чем? Ну, хоть осколком стекла! Отдавайте последний кусок хлеба, чтобы кто-нибудь вас побрил! Выбритый мужчина выглядит моложе, и щеки ведь розовеют, когда их поскребешь. Только не болеть, не выглядеть больным! Хотите жить – производите впечатление работоспособного. Достаточно самого маленького упущения – и все пропало! Ну, допустим, у вас там с ботинком что-то, и вы чуть-чуть прихрамываете. Стоит офицеру СС это заметить, и газовая камера вам обеспечена. Знаете, кого у нас называют "мусульманин"? Скорбная фигура, опустившийся, тощий, больной вид, – сразу видно, что к тяжелой работе не способен. Его-то раньше или позже, скорее раньше, и отправят туда, в газ. Поэтому еще раз – брейтесь! Стойте и ходите прямо! И тогда можно не бояться газа… Да, вы-то здесь всего 24 часа, а я уже знаю и я уверяю вас, вы можете не бояться газовой камеры, разве вот один, – и он указал на меня. – Ты ведь не обиделся? Я говорю открыто. Самое большее – этот, – он снова кивнул на меня, – попадет под следующую селекцию. Так что успокойтесь…» Клянусь, во время этой речи я только усмехался. И, наверное, всякий другой на моем месте повел бы себя так же.

Готхольд Эфраим Лессинг как-то сказал: «Некоторые ситуации лишают человека разума, если только ему есть чего лишаться». В аномальной ситуации именно аномальная реакция становится нормальной. И психиатры могли бы подтвердить – чем нормальнее человек, тем естественнее для него аномальная реакция, если он попадает в аномальную ситуацию, к примеру, будучи помещен в психиатрическую лечебницу. Так и реакция заключенных в концлагере, взятая сама по себе, являет картину ненормального, неестественного душевного состояния, но рассмотренная в связи с ситуацией, она предстает как нормальная, естественная и типичная.

Фаза вторая: жизнь в лагере

Апатия

Через несколько дней психологические реакции начинают меняться. Пережив первоначальный шок, заключенный понемногу погружается во вторую фазу – фазу относительной апатии, когда в его душе что-то отмирает.

Помимо рассмотренных выше разнообразных аффективных реакций, человека, попавшего в лагерь, мучают и иные душевные переживания, которые он пытается в себе заглушить. Прежде всего это безграничная тоска по близким и родным, оставшимся дома. Она может быть такой жгучей, что захватывает все его существо. Затем появляется отвращение ко всему, на что падает его взгляд. Как и все его товарищи, он одет сейчас в такие лохмотья, что огородное пугало показалось бы по сравнению с ним элегантным. В лагере между бараками нет ничего, кроме болотной грязи, и чем больше ее убираешь, тем теснее приходится с ней соприкасаться. Именно новоприбывших охотнее всего направляли в рабочие команды, занятые очисткой отхожих мест и вывозом нечистот. При езде по кочковатому полю брызги этой жижи летели вокруг, попадали на лицо. Но стоило при этом дернуться, сделать попытку вытереться, как тут же следовал удар палкой – так капо реагировал на излишнюю, по его мнению, «деликатность» своего рабочего.

Угасание нормальных чувств продолжалось и продолжалось. Вначале заключенный не мог выносить тех садистских экзекуций, при которых его заставляли присутствовать; он отводил взгляд от своих товарищей, часами приседавших и встававших в грязи в темпе, диктуемом ударами. Но проходят дни, недели, и он начинает реагировать иначе. Ранним утром, еще в темноте, стоит он в своей колонне у ворот лагеря перед маршем на работу; где-то рядом раздается вопль боли, он оборачивается и видит: его товарища ударами сбивают с ног, поднимают и снова сбивают. Почему? За что? Его товарищ болен, у него высокая температура, но, на его несчастье, жар начался только этой ночью и у него не было возможности своевременно измерить температуру в лазарете и остаться в бараке как больному. Теперь его наказывают как симулянта, отлынивающего от работы.

Мучительная картина, но нашего заключенного, находящегося уже на второй стадии психологического реагирования, это уже не трогает. Равнодушно, как-то

отрешенно, с тупым безразличием наблюдает он за происходящим. Или: вечером он сам, опухший от голода, с нарывами или высокой температурой плетется в лазарет в надежде получить освобождение от работ хоть на два дня. И здесь он столь же равнодушно будет смотреть, как втаскивают двенадцатилетнего парнишку. Для этого мальчика в лагере не нашлось обуви, и его, босого, заставляли часами простаивать на снегу плаца и работать на холоде. Его стопы вконец отморожены, и теперь врач отрывает пинцетом почерневшие куски того, что было пальцами… Брезгливость, страх, сострадание, возмущение – ничего этого заключенный теперь уже не в состоянии испытывать. За несколько недель в лагере он видел столько страдающих, больных, умирающих, мертвых, что такие картины его уже не трогают.

Одно время я лежал в сыпнотифозном бараке, среди лихорадящих, бредящих, умирающих больных. И вот опять только что умер один из них. Это случилось на глазах у всех уже в который раз, в своей постоянной повторяемости это уже не вызывает никаких чувств. Я вижу, как то один, то другой подходят к еще теплому трупу, копошатся возле него. Один забирает несколько засохших грязных картофелин, оставшихся от обеда. Другой решил, что деревянные опорки умершего все же лучше его собственных, и меняется с ним. Третий делает то же с курткой. Четвертый радуется, что нашел здесь настоящий – подумайте, настоящий! – шпагат. Безучастно наблюдаю я за их возней. Наконец заставляю себя подняться и говорю санитару, что надо вынести из барака (землянки) труп.

Решившись это сделать, он берет мертвого за ноги, сбрасывает в узкий проход между двумя рядами досок, на которых лежат, справа и слева, 50 больных в лихорадке, и волочит по бугристому земляному полу к выходу. Там есть две ступеньки – вверх и вниз, – вечная проблема для нас, обессилевших от голода. Без помощи рук, не цепляясь за дверные косяки, одними усилиями ног мы давно уже не можем перевалить собственный вес через два двадцатисантиметровых барьера. И вот теперь надо протащить по этим ступенькам труп – сначала наверх, потом вниз. А человек, занятый этим, тоже обессилен. Сначала он выволакивает ноги, потом – туловище, потом мы слышим неприятное постукивание головы о ступеньки.

Тем временем в барак втаскивают обед – бочку жидкого супа. Его быстро раздают, быстро поедают. Мое место напротив входа, на другом конце барака, рядом с единственным маленьким окном, находящимся почти на уровне земли. Обхватив свою миску, я грею об нее окоченевшие руки и, хлебая суп,

оборачиваюсь к окну. Оттуда на меня широко раскрытыми глазами смотрит этот труп. Еще два часа назад мы с ним разговаривали! Я продолжаю хлебать…

Если бы я чисто профессионально не удивился тогда собственному бесчувствию, то, наверное, этот эпизод даже не запомнил бы – настолько мало была окрашена чувствами вся та жизнь в целом.

Что причиняло боль

Апатия, внутреннее отупение, безразличие – эти проявления второй фазы психологических реакций заключенного делали его менее чувствительным к ежедневным, ежечасным побоям. Именно этот род нечувствительности можно считать необходимейшей защитной броней, с помощью которой душа пыталась оградить себя от тяжелого урона.

Пинки и удары можно было получить в лагере по малейшей причине, да и вовсе без причины. Пример: на стройке, где я работаю, пришло время раздачи хлеба. Мы выстраиваемся в очередь, в затылок друг другу. Человек, стоявший за мной, вероятно, немного отступил от прямой линии. Хотя с точки зрения дисциплинарной это не было нарушением (ведь стояли мы там, где положено), это чем-то не понравилось конвоиру, возможно, оскорбило его чувство симметрии. Во всяком случае, я не мог иметь представления о том, что происходит у меня за спиной и что думает конвоир. И меня просто ошеломили два внезапных сильных удара по голове. Только тогда я увидел, что возле нас стоит конвоир и он пустил в ход дубинку.

Причиняемая побоями телесная боль была для нас, заключенных, не самым главным (точно так же, как для подвергаемых наказанию детей). Душевная боль, возмущение против несправедливости – вот что, несмотря на апатию, мучило больше. В этом смысле даже удар, который приходится мимо, может быть болезненным. Однажды, например, мы в сильную метель работали на железнодорожных путях. Уже хотя бы ради того, чтобы не замерзнуть окончательно, я очень прилежно трамбовал колею щебенкой, но в какой-то момент остановился, чтобы высморкаться. К несчастью, именно в этот момент конвоир обернулся ко мне и, конечно, решил, что я отлыниваю от работы. Самым болезненным для меня в этом эпизоде был не страх дисциплинарного взыскания,

битья. Вопреки уже полнейшему, казалось бы, душевному отупению, меня крайне уязвило то, что конвоир не счел то жалкое существо, каким я был в его глазах, достойным даже бранного слова: как бы играя, он поднял с земли камень и бросил в меня. Я должен был понять: так привлекают внимание какого-нибудь животного, так домашней скотине напоминают о ее обязанностях – равнодушно, не снисходя до наказания.

Тяжесть презрения

Самое болезненное в побоях – это презрение, которым они сопровождаются. Однажды мы перетаскивали через обледеневшие железнодорожные пути тяжелые шпалы. Стоило одному, поскользнувшись, оступиться или упасть, как он увлек бы за собой товарищей, несущих шпалу вместе с ним.

Среди нас был мой коллега и друг, страдавший врожденным вывихом тазобедренного сустава. Он был невероятно рад, что попал на работы, – ведь люди с физическим недостатком вроде него подлежали селекции, их участью становилась газовая камера. И вот он ковыляет под грузом особенно тяжелой шпалы; остается уже несколько шагов до места, куда ее надо сбросить, когда я вижу, что его нога скользит. Я еще своей шпалы не получил и почти автоматически бросаюсь его поддержать. В тот же момент на мою спину опускается дубинка конвоира, и яростный окрик возвращает меня на место. А ведь всего несколько минут назад тот же конвоир презрительно разглагольствовал о том, что у нас, свиней, нет духа товарищества…

В другой раз мы должны были при 20-градусном морозе копать промерзшую, твердую, как камень, землю для прокладки водопроводных труб. К этому времени я уже очень ослабел физически. И вот появляется надзирающий за работами – толстощекий, румяный, с лицом, весьма напоминающим свиное рыло. Как нам, замерзающим, не позавидовать его полушубку, его отличным перчаткам – ведь мы одеты в тряпье, руки у нас голые! С минуту он молча разглядывал меня и кучу выкопанной земли передо мной – свидетельство моей продуктивности. Я предвижу недоброе, и действительно следует крик: «Ты, свинья! Я слежу за тобой все время! Я еще покажу тебе, как надо работать! Ты у меня будешь зубами землю грызть! Ты здесь подохнешь, уж я об этом позабочусь! Ты у меня за два дня сгинешь! Ты в своей жизни ни дня не работал,

это видно. Кем ты был, ты, скотина? Разные делишки обделывал, ха!»

Мне уже все равно. Я понимаю: угрозу моего быстрого уничтожения надо принимать всерьез. Но я выпрямляюсь, смотрю ему прямо в глаза и говорю:

– Я был врачом. Врачом-специалистом.

– Что? Врачом ты был? Деньги ты у людей вытягивал – в это я поверю.

– Господин руководитель работ! Как раз основную свою работу я вел бесплатно – в больнице для бедных.

Да, это было уже слишком! Он бешено бросается на меня, опрокидывает на землю, что-то орет как одержимый…

Но мне повезло. Капо моей рабочей группы благоволил ко мне. Во время многочасовых маршей на работы и с работ я выслушивал его пространные повествования о его любовных историях и семейных конфликтах, обсуждал их с ним и произвел на него известное впечатление своими характерологическими диагнозами и психотерапевтическими советами. То, как он длительное время выражал свою благодарность, было для меня очень ценным: он обеспечивал мне место рядом с собой в первых рядах нашей колонны, состоявшей обычно из 280 человек. В чем тут преимущество? Только представьте себе: ранним утром, еще в темноте, мы начинаем строиться. Каждый боится прийти слишком поздно и оказаться в последних рядах. Ведь если вдруг понадобятся люди для каких-то других, более тяжелых и неприятных работ, появится старший по лагерю (момент, ожидавшийся со страхом) и отберет нужное ему количество из этих последних рядов. Впрочем, иногда, чтобы обмануть расчеты «этих хитрецов», он отбирал как раз первые ряды. Любая просьба или попытка протеста тут же подавлялись парой внушительных ударов сапогом, и жертв выбора под окрики и брань гнали на плац.

До тех пор, пока длились излияния моего капо, ничего подобного со мной случиться не могло – мне было обеспечено почетное место рядом с ним. И это еще не все. Как и все обитатели лагеря, я жестоко страдал от голода. Ноги мои страшно отекли, и кожа из-за этого так натянулась, что я с трудом сгибал колени. Ботинки, чтобы всунуть в них отекшие стопы, приходилось оставлять незашнурованными, и туда постоянно набивался снег, так что ноги были к тому

же постоянно мокры. Если бы даже нашлись какие-то толстые носки, ботинки бы тогда вовсе не налезли. Конечно, на ногах появились отморожения, трещины, так что буквально каждый шаг становился мукой. И еще одно бедствие: при марше по заснеженному полю на подошвы налипал снег, на них образовывались ледяные бугры. То и дело, поскользнувшись, падал один, на него натыкался и падал шедший следом, колонна расстраивалась, наступала заминка. Конвоиры прикладами ружей наводили порядок, строй снова двигался, и снова все повторялось. Так вот, чем ближе к началу колонны ты идешь, тем меньше препятствий впереди тебя, тем реже ты вынужден останавливаться, а потом, несмотря на эту адскую боль в ногах, бежать бегом. Как же должен быть счастлив личный психотерапевт «господина капо», имеющий возможность идти поблизости от него, в первых рядах, в более или менее равномерном темпе!

Не умолчу и о другом гонораре. До тех пор, пока на рабочей площадке давался суп, я мог рассчитывать, что, когда подойдет моя очередь, капо опустит половник немного поглубже и зачерпнет мне со дна несколько лишних горошин.

И вот этот капо, бывший офицер, набрался храбрости отозвать в сторонку разъяренного начальника и шепнуть ему, что он знает меня «как хорошего работника». Конечно, это бы не помогло, но на следующий день капо сумел сунуть меня в другую рабочую группу.

Этот эпизод можно истолковать по-разному. Но для меня он служит подтверждением того, что даже при всей апатии, при всей приглушенности чувств человек все-таки остается способным на вспышку возмущения. И вызывает ее не столько грубость обращения или физическая боль, сколько унижение, сопровождающее все это. Мне просто кровь ударила в голову, когда я принужден был выслушивать издевательства человека, не имевшего никакого представления о моей прежней жизни, человека настолько грубого и наглого, что медицинская сестра госпиталя, где я раньше работал, не пустила бы его на порог. И надо сказать, что эта моя вспышка, происшедшая на глазах стоящих вокруг товарищей, принесла мне какое-то облегчение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/viktor-frankl-2/skazat-zhizni-da-upryamstvo-duha/) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

В литературе на русском языке чаще встречается польское название этого лагеря – Освенцим. – Прим. пер.

2

Имеется в виду книга французского социолога конца XIX – начала XX века Гюстава Лебона «Психология масс» или «Психология толп» (1895).

Купить: https://tellnovel.com/viktor-frankl/skazat-zhizni-da-psiholog-v-konclagere-kupit

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити